

НОВЫЕ КНИГИ

Аркадий Львов

ПОСМЕРТНОЕ ВСКРЫТИЕ ИМПЕРИИ *

В морозный, по-московски хмурый декабрьский день я встретился с Джеком Мэтлоком в Гарримановском институте, чтобы сообщить ему о серии передач, которую мы готовим в связи с выходом его мемуаров "Посмертное вскрытие империи".**

Пересекши подворье Колумбийского университета, заваленного снегом, я вышел к корпусу политических наук, где на двенадцатом этаже располагается Гарримановский институт.

Профессор Мэтлок, как всегда ровный, спокойный, с приветливой (несомненно искренней, но в то же время и отработанной) улыбкой натерелого дипломата, сказал, что по погоде, у него сейчас такое чувство, как будто он не в Нью-Йорке, который на широте Ташкента, а где-то в Москве на Садовом кольце.

— И, знаете, — сказал он, — приятно. Первый раз я приехал в Москву в самом начале 60-х годов, мне только недавно исполнилось тридцать лет, и с тех пор Москва стала для меня почти родным городом. Это, конечно, не северная Каролина, где я родился. Но если проведешь в городе одиннадцать лет, тем более, в таком городе, как Москва, то, уезжая, не только увозишь с собой что-то, но и оставляешь там что-то.

* * *

В американской печати мне приходилось встречаться с разными оценками и суждениями о Мэтлоке. В одних слу-

*Передача радио "Свобода" из серии "Американские ученые о России".

**Jack F. Mattlock, Jr. *Autopsy on an Empire*. Random House. N.Y. 1995.

чаях он представлялся гибким, с обостренным чувством времени и ситуации дипломатом; в других — упрямым, жестким поборником твердой линии, с воинственными замашками, сказавшимися в политике президента Рейгана, у которого он был консультантом и главным советником по русским делам.

Впервые мне довелось встретиться с Джеком Мэтлоком в Кеннановском институте в Вашингтоне, когда уже определенно говорили, что он сменит на Садово-Спасской в Москве, где находится Американское посольство, Артура Хартмана. Сложилось так, что оба они побывали в институте с небольшим промежутком во времени, и сопоставление напрашивалось само собою. Антиподы во внешнем облике (Хартман — высокий, как говорят на Руси, видный собой; Мэтлок — крепыш, кряжистый, чуть не добирающий до среднего роста), они оставляли и ощущение полярности в манере общения, в общем взгляде на тогдашние отношения между Вашингтоном и Москвой. Артур Хартман, с которым был у меня разговор после его лекции, держался того мнения, что Горбачев только пускает пробные шары, а на самом деле будет продолжать генеральную линию партии.

Мэтлок же в лекции своей (а еще прямее в ответах на вопросы аудитории, почти сплошь состоящей из профессоров и докторов политических наук) утверждал, что в Союзе происходят серьезные перемены. Правда, пока речь идет скорее о тенденциях, но тенденции эти надо серьезно принимать в расчет, чтобы перспектива не оказалась искаженной.

Читая книгу мемуаров Джека Мэтлока, я вспомнил разговоры и картины почти десятилетней давности. Тогда, в Кеннановском институте, где я был гостевым научным сотрудником, говорить с Мэтлоком мне не привелось. Теперь же в Колумбийском университете, в беседах с профессором Мэтлоком восстановилось то чувство ясности и определенности суждений, какое

впервые возникло тогда, в середине минувшего десятилетия. Книга “Посмертное вскрытие империи” дала новый заряд этому впечатлению.

Автор говорит, что дипломат срачивается со страной, со средой, с людьми независимо от собственной воли. Но интеллектуальная и эмоциональная его установка играют, конечно, первостепенную роль.

Джек Мэтлок помнит, при каких обстоятельствах он, студент Дюковского университета, впервые обратился к русскому языку и литературе. Это было вскоре по окончании Второй мировой войны. Формально и этого обстоятельства было бы достаточно, чтобы объяснить интерес молодого американца к России, с которой четыре года Соединенные Штаты были по одну сторону фронта против Германии.

Но психологически, говорит автор мемуаров, объяснение уходит в глубь времен, в давнее прошлое, когда далекие предки Мэтлоков, шотландско-ирландских кровей квакеры, бежали из Европы в поисках свободы в Северную Америку.

Континенты и страны манили Джека, чужие наречия звучали в его ушах, неведомые обычаи и нравы тревожили воображение. Чуть забегая вперед, зметим, что дипломат Мэтлок в своих приветствиях обращался на языке тех народов и стран, скажем, Закавказья или Средней Азии, которые его приглашали. Что же касается русского, то ему приходилось выступать и в роли толмача.

Карьерный дипломат, прошедший тридцать пять лет своей жизни по ведомству госдепартамента, Мэтлок самыми главными годами считает те, которые были связаны с Москвой, с Россией, с Союзом. Он вернулся в Штаты за несколько дней до августовского путча 1991 года, за четыре месяца до ликвидации СССР.

Вспоминая 25 декабря 1991 года (в Америке в этот день отмечают рождество), Мэтлок по сей день слышит голос

Михаила Горбачева, первого и последнего президента СССР. В какой-то момент возникло ощущение некой фантазмагории; события, предельно жестоко реальные, казались нереальными. Неясно было, когда следует ожидать официальной процедуры упразднения Советского Союза. И вдруг на экране появился изобразительный ряд, тоже казавшийся действием из какой-то фантазмагории: опустился флаг СССР, и на флагштоке взвился трехцветный флаг России.

Это была неожиданность — неожиданность не только для сложившего свои полномочия (по классической терминологии, отрекшегося) Горбачева, но и для тех, наверное, почти всех, кто смотрел в эту минуту телевизионную программу из Москвы.

Ожидал ли этого он, недавний посол Вашингтона в Москве, Джек Мэтлок? Автор мемуаров “Посмертное вскрытие империи” говорит, что ожидал, ожидал давно, и в таком именно духе отвечал на вопросы о грядущей судьбе Союза, но при этом всегда уточнял: “Мой внук это увидит”.

* * *

Но сложилось так, что довелось увидеть ему самому. В разговоре, какой недавно был у нас в Гарримановском институте, Мэтлок сказал, что такой вариант рассматривался летом того, 1990 года, в беседе с Хасбулатовым, тогдашним председателем Верховного совета. Естественно, дата не устанавливалась. Но общий прогноз был именно таков — Союз доживает свой срок, дни его исчислены и взвешены.

Но при всем том событие, когда оно свершилось, оказалось в том ряду, который помечается понятием “неожиданное”.

* * *

Произведя автопсию, посмертное вскрытие империи, автор мемуаров с предельной точностью формулирует тогдашнее свое состояние. Прежде всего нужно было отве-

тить на вопрос: что, собственно, рушилось, что отошло в небытие? Советский ли Союз, как привыкли видеть его и понимать с тех давних, почти семидесятилетней удаленности дней, когда он возник на политических картах мира? Советский Союз, с которым более сорока лет Соединенные Штаты пребывали в состоянии “холодной войны”, когда временами казалось, все держится на ниточке, на волоске? Или (в поисках ответа мемуарист обращается к биологической терминологии) погиб зародыш нового, политический эмбрион, гибели которого едва ли следует радоваться?

История не лаборатория, всякий опыт ставится здесь один раз: в первый и последний. Но перебор вариантов — это занятие не только для ученого, не только, в данном случае, для историографа, но и для политика, дипломата, государственного деятеля.

“Посмертное вскрытие империи” — это книга мемуаров, книга раздумий дипломата, книга историка. Каждая из двадцати четырех ее глав дает ощущение незавершенного поиска. Поиска, который предполагает не только новый взгляд, новое толкование, но и новые факты. Причем надобно здесь сразу уточнить, не только факты прошлого, с какими придется иметь дело историку, но и факты будущего, о каких сегодня можно строить лишь догадки.

* * *

Еще в хрущевское десятилетие, в первый свой срок в посольстве Соединенных Штатов в Москве, Джек Мэтлок задался вопросом: что такое Советский Союз? Общие ответы, расхожее мнение — большевистская империя, колониальная держава, тоталитарное общество — хотя в каждом содержались видимые, реальные признаки, не удивлявшие его.

Во всех империях, какие существовали в человеческой истории, важнейшим компонентом была доминантная нация. В Российской империи такой доминантной нацией были, несомненно, великороссы. Но можно ли было то же

утверждать относительно большевистской России? Да, русский язык был господствующим. Да, во всех республиках к первому секретарю ЦК, из “нацменов”, приставлялся второй, как правило, из великороссов. Да, Москва, столица Российской Федерации, была и столицей СССР.

Но, спрашивает Мэтлок, разве русские жили лучше своих соседей, “младших братьев” из братских республик? Разве у них было больше политических и гражданских прав? Когда еще в годы горбачевской перестройки начались исторические разборки, солженицынский тезис об ущемлении, какому подвергались русские в Советском союзе, приобрел особое звучание. Самоуничтожение, в котором, кажется, черпали некоторое удовлетворение трубадуры и апологеты этого тезиса, явно было гипертрофировано. Но несомненно, замечает автор в своих мемуарах, расхожая версия великорусской доминанты требовала не просто корректировки, но переосмысления.

Большевики создавали новую империю, экспериментирова. Советскую конституцию 1936 г. Сталин, официальный ее творец, объявил высшим достижением демократии. В качестве эпиграфа к главе “Империя” Мэтлок избрал слова Ларошфуко: “Лицемерие — это дань, которую порок платит добродетели”.

Несомненно, упомянутая конституция, “самая, — по словам Сталина, — демократическая в мире”, была данью большевистского порока демократической добродетели. Но разве союзные республики (тогда их было одиннадцать) представлялись только фикцией? Конечно, право на выход из Союза было фиктивным. Но границы национальных республик, при всей их условности, отмечены были и качествами реалий. И хотя верховные их советы, как и всякие министерства и суды, наделены были ограниченными, порою, прямо призрачными, функциями, но национальное самосознание в республиках кристаллизовалось. Как показали последующие события, не только кристаллизовалось, но и

формировалось как политическое и государственное самосознание.

Административное деление, принятое с петровских времен в России, после октября 1917 г. трансформировалось в некий гибрид, в котором сочетались губернские, национальные и партийно-государственные начала.

Самое примечательное, что национальные границы (особенно в Средней Азии) при этом неоднократно кроились и перекраивались, поскольку невозможно было определенно указать не только границы, но и принципы, на основе которых эти границы устанавливаются. Диалекты при этом объявлялись языками, а языки, по причине очевидной своей привязанности к магометанской культуре, в особенности к арабской письменности, переведены были поначалу на латинский алфавит, а несколько времени спустя — на кириллицу.

Сказалась ли в этом великорусская доминанта? Российские самодержцы не считали уместным переводить инородцев с арабского алфавита на кириллицу. Большевикам это понадобилось.

Постоянно твердя о культуре, национальной по форме и социалистической по содержанию, в столице столиц — в Москве, начиная со сталинских времен, большевики устраивали смотры и декады. Логика процесса была, однако, такова, что влекла к более значительным акциям, последствий которых никто не мог предвидеть. В этом ряду в Закавказье “обустроены” были в районе Нагорного Карабаха армяно-азербайджанские дела, а в европейской части — в качестве подарка Украине от России поднесен был Крым. Нет, однако, сомнения, что к самому подарку инициаторы его относились как к формальному акту, лишённому практического смысла. Между тем, в истории нет акций, которые лишены были бы предметного смысла, как бы ни относились к ним сами исполнители. Объявленное во времена брежневской стагнации создание новой социальной общности — советского народа десятилетие спустя оборотилось

кровавыми национальными распрями, которых не знала послеоктябрьская Россия. Верили ли сами советские лидеры, что выкристаллизовалась новая социально-этническая общность, имя которой “советский народ”?

Главный менеджер программы перестройки, Михаил Горбачев, безусловно, верил. Он был весьма удивлен, когда люди, которых он намеревался облагодетельствовать уважительным отношением к провозглашенным в советской конституции гражданским свободам, едва освободясь от узды, к коей приучены, казалось, были с малых-юных лет, вдруг вспомнили о своих национальных обидах.

История преподнесла еще один урок: границы, начертанные в свое время произвольною рукою, две трети века спустя пытались исправить человеческой кровью. Причем тем настырнее пытались, чем меньше они поддавались исправлению насильственным путем.

Государственные, административные, национальные и партийные структуры, которые складывались по внутренней, свойственной им природе, большевики пытались привести к единообразию, предписанному им философией и моделями Маркса-Ленина. Советский Союз, выдержавший, казалось бы, испытание временем, испытание самой кровопролитной в истории России войной, представший миру в образе — устрашающем образе — сверхдержавы, в несколько лет оборотился колоссом на глиняных ногах.

Хотел ли Запад, хотел ли свободный мир этого крушения, этой гибели? Джек Мэтлок решительно и определенно отвечает: нет, не хотел.

Конечно, на Западе были — были и есть — политики, дипломаты, историки, которым сильная Россия внушает опасения. Имперский дух, имперский настрой — это, убеждены они, не только прошлое России, не только ее история. В геополитическом пространстве бывшего Советского Союза они предпочитают видеть несколько государств; система разновесов и противовесов представляется им средой, в которой имперские импульсы России будут га-

ситься. Или, если не гаситься, будут умеряться до уровня, на котором возможен контроль.

Между тем, замечает Мэтлок, на просторах бывшего СССР идут процессы, которые могут привести к созданию новой устойчивой структуры, основанной на началах интеграции, свойственных свободным обществам.

Чтобы представить себе, на каких путях может происходить становление новых сил и тенденций, надо, как говорит Джек Мэтлок, оборотиться назад и ответить на главный вопрос: что привело систему к развалу, какие силы привели империю к гибели?

* * *

За несколько дней до выборов в Думу в Колумбийском университете была проведена по программе Гарримановского университета конференция, которую ее участники назвали “круглым столом на две персоны”. Это определение “с крупицей соли”, как говаривали античные римляне, весьма точно отражало картину, которая сложилась на конференции. Главные докладчики — профессор Принстона Стивен Коэн и профессор Колумбийского университета Джек Мэтлок — излагали свои взгляды на российские дела. Коэн недавно показал свою программу с Горбачевым по американскому телевидению, а Мэтлок только что вернулся из поездки по Соединенным Штатам в связи с выходом в свет “Посмертного вскрытия империи”.

Публика ожидала острой дискуссии, но последовал обмен тезисами в спокойном академическом ключе, который несколько разнообразился комплиментами в адрес Джека Мэтлока. Мэтлок сидел при этом с невозмутимым лицом, ожидая своей очереди для изложения тезисов о возможном развитии событий в России после выборов в Думу.

Что коммунисты могут рассчитывать на успех, в этом Коэн и Мэтлок были согласны. Но первый держался того мнения, что думские выборы дадут лишь картину настроений в стране, а действительная ситуация будет, как прежде,

определяться Ельциным, если, конечно, его не подведет здоровье. Джек Мэтлок уверенно прогнозировал, что здоровье Ельцина не подведет. А вот что касается выборов в Думу, здесь ему придется покруче, чем в минувшие два года. Как практический орган Дума, конечно, весьма ограничена. Характер же президента таков, что ограничения эти в действительности не умаляются, а напротив, ужесточаются. Но, подобно тому, как это было еще в горбачевские годы с Верховным советом, парламент не только отражает настроения, но и формирует их. С этим фактором правительство столкнулось уже в первые десятилетия века во времена предоктябрьской Думы, когда независимо от того, как относились к ней россияне политически, нравственно она оставалась реальным компонентом отечественной истории.

Октябрьские события 1990 г. в Москве и расстрел Парламента в 1993 г. показали, что вопреки расхожему мнению, выборный парламент в России — это общенациональное достояние, и россияне так его воспринимают. Два года минувшей Думы исполнены были всяких тревог и слухов по поводу возможного ее разгона, хотя и предусмотренного как прерогатива президента, но в сознании рядового избирателя противоправного с точки зрения нравственной.

Один из парадоксов нынешнего момента в том, что Борис Ельцин, первый свободно избранный президент России, пользовался, и по всем приметам, пользуется и теперь разными эталонами для определения ценности выборных компонентов исполнительной и законодательной власти. Естественно, это затрудняет политический прогноз, и западным партнерам России приходится моделировать в своих перспективных оценках разные варианты.

Делать ставку в сегодняшней России на личность, сказал Мэтлок, было бы неосмотрительно. В свое время Белый дом сделал этого рода ошибку и вынужден был поспешно вносить исправления.

Когда оглашены были результаты выборов в Думу,

Мэтлок заметил, что есть в этих выборных сводках, несомненно, отрадный момент — произошло именно то, чего ожидали. Значит, добавил он, мы чему-то научились.

* * *

Перед этим у нас был разговор о главе “Президент, которого не избирали”, где автор с откровенностью, какую может позволить себе человек, уже отошедший от политических дел и предавшийся академическим занятиям, рассказывает, как делалась в Госдепартаменте и Белом доме российская политика.

Всякий раз оговариваясь, что собственно вмешательства во внутренние дела Союза (напомню, Мэтлок вернулся в Соединенные Штаты в августе 1991г.) не было, он сообщает, что длительное время в американском посольстве на Садовом кольце никак не могли взять в толк, чего именно ждут от их обзоров в Вашингтоне. Не были определены отправные точки анализа, непонятно было, как, в каком плане составлять отчеты, необходимые Госдепартаменту и Белому дому для выработки российской политики.

Складывалась ситуация, при которой всякий шаг Госдепартамента представлял собой реакцию на конкретное событие или проблему, что называется, “на злобу дня”. Надо было составлять экономические и политические обзоры, но каково было их соотношение, как отделить перспективное и желательное от неприемлемого, в особенности в экономике, было непонятно. При всем этом, однако, Горбачеву давались рекомендации, как правило с добрыми, действительно дружескими намерениями, подсказанными желанием поддержать реформатора, поддержать его реформы.

Нет сомнения, говорит Мэтлок, что это была ставка на личность. Доверие, точнее говоря, вера в Горбачева, который по тем временам представлялся Западу единственным человеком, способным вести страну по пути либеральных преобразований, вера эта была столь тесно связана с Михаилом Горбачевым, именно с ним, что уже одно это,

строго говоря, должно было склонять Запад не только к осмотрительности, но и к критической оценке своих узловых установок.

Желание нравиться Западу носило у Горбачева прямо навязчивый характер. Разумеется, замечает Мэтлок, это могло быть истолковано как действительное его уважение к институтам демократического общества, которые он намеревался создать и в своей стране. Но при всем том Горбачев был человеком, пространственные и временные координаты которого привязывали его к Советскому Союзу, тому самому СССР, который создан был коммунистической партией. Партией, вознесшей его на вершину власти.

Маневры в Политбюро, в ЦК Горбачев проводил не только искусно, но столь успешно, что это работало на его образ политика, которому все удается. Парадокс, однако, заключался в том, что чем успешнее было его единоборство с партией, тем уже делалось оперативное пространство, на котором был обеспечен ему успех.

Мечта о президентстве (а Горбачев, пишет Мэтлок, несомненно, одержим был желанием стать президентом) не могла осуществиться при партии, которая была представлена в конституции высшим субъектом власти. Первые робкие голоса, призывавшие к отмене шестой статьи конституции, с голосом Андрея Сахарова приобрели в короткое время столь мощное звучание, что заглушить их не было уже никакой возможности. Горбачев, который присоединил к этому хору и свой голос, в действительности в недрах души не свободен был от сомнений. Вообще всякий раз, когда обстоятельства вынуждали его сделать решительный шаг, Горбачев начинал некое странное топтание на месте, которое имело одну цель — крепче прижаться к земле, чтобы не потерять опоры.

В России наиболее радикально настроенные демократы давали этому вполне определенное объяснение, которое находило свое исчерпывающее обоснование в биографии

партийного функционера. Обращаясь к классическим революциям прошлого, они находили множество примеров того, как первые бунтари оказывались на ролях ретроградов и предателей, когда переставали поспевать за революцией и цеплялись за ее одежды, чтобы остановить ее неумолимый бег.

На Западе, однако, Горбачев виделся по-другому. Перемены, которые произошли в Европе, свершились в столь короткие сроки, что не только западные лидеры, но десятки, сотни миллионов людей, которые либо на своем опыте ощутили эти перемены, либо смотрели каждодневно телевизионные репортажи, никак не могли числить Михаила Горбачева в ретроградах. Осенью 1995 г. и совсем недавно в январе 1996 г. в печати появились сообщения, что Горбачев намерен выдвинуть свою кандидатуру в президенты.

“Ну, что ж, — сказал в этой связи Мэтлок, — кандидатом он, конечно, может быть, но в президенты ему не выйти. На Западе Горбачев — созидатель, автор нового мышления, герой, освободивший мир от страха перед русской водородной бомбой. Но быть ли ему президентом России? Голозовать будут не на Рейне, а на Волге. В России (я не думаю, что все, но многие) видят в нем человека, который развалил Советский Союз. В Москве есть люди, которые искренне верят, что Горбачев в этом деле был в сговоре с Америкой. Несомненно, это заблуждение и в отношении Горбачева, и в отношении Америки”.

В главе “Президент, которого не выбрали” Джек Мэтлок представляет взгляды американских лидеров (и хозяев Белого дома, и руководителей Госдепартамента) в эволюции. Совершенно очевидно, что на каком-то этапе и президент, и госсекретарь не только не желали развала СССР, но весьма опасались этого, чтобы не сказать страшились. Причиной этому были, во-первых, непредсказуемость последствий распада гигантской империи для мирового сообщества; во-вторых, непредсказуемость, в случае такого развала, судьбы горбачевских преобразований.

Несомненно, Запад был заинтересован в стабильном положении Горбачева. Хотя в Вашингтоне с большой симпатией относились к демократам, к их “демократической платформе”, к призывам ускорить, углубить преобразования, эти симпатии носили скорее общегуманный, умозрительный характер. Практически наскоки на Горбачева, выпады против него, которые сопровождались требованием его немедленной отставки, внушали серьезную тревогу. Ельцин и после того, как был избран председателем Верховного совета Российской Федерации, представлялся одиозной фигурой. Ощущение надежности (по крайней мере, в той степени, в которой вообще могла идти речь о надежности) связывалось с фигурой Горбачева. И по одной уже той причине, что Горбачев безусловно не ставил своей целью развал СССР, Запад не мог желать такого развала.

Но, конечно, подчеркивает Джек Мэтлок, это не означало, что представления Горбачева и западных лидеров были идентичны. Даже среди западных лидеров не было единства.

Сепаратистские настроения в Прибалтике, которые поначалу сводились к обеспечению суверенитета, какой признавался за союзными республиками по конституции, поддерживались Вашингтоном. Но эта поддержка была, строго говоря, ниже той отметки, того уровня, который предполагался известным политическим и дипломатическим фактом: ни Литва, ни Латвия, ни Эстония никогда не признавались Вашингтоном частью Советского Союза.

* * *

Чуть отступлю в этом месте от книги Мэтлока, чтобы воспроизвести мысли, которые он высказал в нашем разговоре.

— Знаете, я много думал об этом. Хотя Горбачев обвинял меня в том, что я подогреваю настроения в Прибалтике, это было не совсем так. Я, конечно, был в контакте с Ландсбергисом и другими лидерами в Прибалтике, но я ни-

когда не подстрекал их к конфликту с Москвой. Я был сторонником решения этой проблемы на правовой основе. Прибалты говорили, что никакой правовой основы нет — есть преступный сговор Сталина с Гитлером, есть пакт Молотова-Риббентропа. Но с другой стороны, были и формальные акты обращения этих республик к Верховному совету СССР с просьбой о включении. Конечно, этому предшествовала оккупация. Дивизии Красной Армии стояли в столицах. Я всегда считал оккупацию балтийских республик не просто ошибкой, а фатальным, роковым просчетом. Я думаю, что не было бы декабря 1991., не было бы Беловежской Пуши, если бы в 1940 г. не было оккупации Литвы, Латвии, Эстонии. К этому я добавлю еще, — сказал Мэтлок, — что Горбачев вел бы себя иначе весной 1990 г., когда встал вопрос о президентской власти в СССР. Я думаю, ему не надо было бы опасаться провала в случае всеобщего голосования. Он не боялся бы, что его не выберут, и не делал бы ставку на Верховный совет. Прибалты подорвали не только его позиции, но и его силы. Естественно, другие республики не оставили без внимания их пример.

* * *

В книге своей Мэтлок говорит, что Белый дом находился под давлением общественного мнения, что Капитолий занял жесткую позицию. И в ответ на объявление экономических санкций, принятых Горбачевым в отношении Литвы, последовали призывы в Конгрессе к экономическим санкциям против Москвы. Это была уже позиция не Белого дома. Это была позиция Америки, и не во власти президента, тем более, госсекретаря, было изменить ее, даже если бы они этого хотели.

Внутренне еще и до всяких формальных акций Горбачев, полагает Мэтлок, был к этому готов. Но и силы, и время, которые потрачены были на то, чтобы признать реальностью ситуацию с уходившими в полувековую дав-

ность корнями, подтачивали не только позицию Горбачева, ставшего уже президентом Советского Союза, но и создавали новую психологическую реальность.

Несмотря на то, что политические изменения происходили в стране несравненно быстрее экономических, именно экономика, замечает Мэтлок, сказала решающим образом на настроениях людей. Пустые прилавки в магазинах были не причиной, а последствием беспорядка в хозяйстве, который обернулся вскоре грозным хаосом.

Чем хуже шли дела у Горбачева в его стране, тем более уповал он на Запад. Полагал ли он, что Запад в самом деле поможет ему навести порядок там, где сам он обнаружил свое бессилие? Или это было естественное для оказавшегося в критическом положении человека движение в сторону, где хоть на день, хоть на неделю во время разного рода государственных визитов устранялись неодолимые трудности?

Видимо, и то, и другое. Но что же, спрашивает Джек Мэтлок, делали те, от кого Горбачев ожидал помощи? Помощи, о которой он и сам толком не знал, какой она должна быть. И что, собственно, следует называть помощью: контейнеры с пищевыми пакетами; кредиты; послабления в торговле; советы и консультации специалистов?

На этот вопрос в те дни, пожалуй, едва ли кто вразумительно мог ответить. В самой России предлагались один за другим всякие экономические проекты, осуществление которых укладывалось в пять сотен дней, исчисленных по календарю. Причина же трудностей усматривалась в политической незрелости или недозрелости, в двойственной природе президента, который и тогда, когда хочет, не знает толком, чего хочет; и тогда, когда не хочет, так же толком не знает чего.

Ну, а мы, спрашивает Мэтлок об американцах, мы знали, что надобно делать, какая должна быть она, наша помощь Москве, где производился эксперимент, которого еще не знала Россия?

Из Вашингтона мы не получали по части идей ничего, что можно было бы предложить президенту СССР, предложить его стране и людям. Мы собирались в те дни на свои посольские конференции в “Спасо-хаусе” и пытались ответить на вопрос “Что делать?”.

И тогда (казалось, это было предельно просто и должно было само собою бросаться в глаза) обнаружилось, что образовался огромный перекося между политическими и экономическими переменами в России. Глубинные изменения — это прежде всего изменения в экономических структурах. Между тем, именно в этой области было сделано менее всего, говорит Джек Мэтлок.

Запад интересовали прежде всего политические пертурбации в России.

— Нет, нет, — решительно повторил Мэтлок, — я не верю, что у Горбачева есть шанс вторично стать президентом. У каждого политического деятеля имеется потенциал, который исчерпывается, как исчерпывается всякий заряд. Я знаком с Горбачевым более десяти лет. Мне кажется, среди российских лидеров нет никого другого, кого бы я знал так, как Горбачева.

* * *

Первая встреча, рассказывает Джек Мэтлок в своей книге, должна была произойти в 1975 г. в Ставрополе. Почему именно в Ставрополь приехал он тогда, автор не объясняет. Он сообщает лишь, что временно замещал в Москве посла Соединенных Штатов, и поездка его на Северный Кавказ состоялась тогда в этом высоком, хотя и временном, ранге.

Они — и американский поверенный в делах, и партийный босс Ставрополя, член ЦК, молодой, по советским меркам, функционер сорока с небольшим лет, — были почти ровесниками. Это, несомненно, вело бы к взаимному расположению, но визит американского дипломата, прошел по обычной схеме: знакомство с краем, с колхозами,

с предприятиями. Естественно, такой визит мог произойти лишь с ведома Комитета госбезопасности, но секретарь крайкома партии личного участия тогда в нем не принял.

Десять лет спустя Джек Мэтлок и Михаил Горбачев, наконец, встретились. Вновь по приглашению хозяина, но уже не секретаря краевого комитета партии, а генерального секретаря партии. В мае он, советник президента Рейгана по русским делам, и тогдашний министр торговли Малколм Болдридж приняты были генсеком партии, который только два месяца назад сел в первое кресло страны.

Министр торговли, в прошлом ковбой, приготовил для Михаила Горбачева подарок, который, по его ожиданию, должен был расположить хозяина Кремля к гостю по закону родства, какое чувствуют друг к другу те, кто детство провел верхом на лошади. Седло ковбоя со Среднего Запада Горбачев, вспоминает Мэтлок, принял с благодарностью, сохраняя при этом достоинство, какое приличествует истинному ковбою, но предусмотрительно умолчал, что сам, в отличие от министра Болдриджа, хотя и вырос в лошадных краях, верхом не ездил, а был колхозным механизатором.

Встреча эта продолжалась два часа, и вот тогда советник президента Рейгана по русским делам увидел перед собой человека, который весьма отличался от своих предшественников-генсеков.

Как заметил Душко Додер, тогдашний начальник бюро “Вашингтон Пост” в Москве, новый генсек “ходил, говорил, и костюм сидел на нем хорошо”. Они — и хозяин, и гости — расположились за тем самым столом, где сживал Брежнев, и папка с материалами лежала перед Горбачевым. Но за все время двухчасового разговора, замечает Мэтлок, хозяин ни разу не взял в руки эту папку.

Горбачев, бесспорно, вел разговор; ответы его, хотя порою превращались в своего рода лекцию, ни разу, однако, не заключали в себе ссылок на преимущества советской системы — тезис, который считался обязательным для прежних генсеков.

Тон сохранялся ровный, благожелательный. Однажды только Горбачев заговорил горячо, когда коснулся недавнего заявления тогдашнего министра обороны Соединенных Штатов Каспара Вайнбергера о том, что Советский Союз более не в силах прокормить своих граждан.

“Почему, — повысил голос Горбачев, — вы не обвиняете Великобританию и Германию, которые импортируют продовольствие, в том, что они не способны прокормить своих граждан? Мы, между прочим, производим пшеницы больше, чем вы, на душу населения, но потери у нас велики. В этом беда. Но мы решим проблему. И тогда понесут убытки ваши фермеры. Но это будет уже вашей проблемой”.

Словом, заключает эпизод Джек Мэтлок, это был типичный Горбачев: порывистый, гордый, способный отстоять себя, рассудительный и осмотрительный спорщик, не склонный к тотальному забвению или отрицанию фактов, которые могут быть для него неприятны.

Вот тогда-то, пишет Мэтлок, я поделился своими впечатлениями с коллегами в Вашингтоне: эра болтовни, когда деловые разговоры подменялись какими-то ненужными дискуссиями, у которых была только одна цель — запутать, увести от главного, беспрерывно талдычить одно и то же, повторяя набившие оскомину аргументы, эта эра, кажется, кончилась. Ныне открывается возможность для дельных разговоров, продуктивных контактов. И, возможно, достижения доверия, которое, вопреки расхожему мнению, дипломаты, если они хотят искренне установить добрые отношения, должны питать друг к другу и к своим политическим партнерам.

* * *

На рождественском приеме в Гарримановском институте (несколько столов, уставленных закусками и бутылками, гости с бумажной тарелочкой в одной руке, с бокалом в другой, как правило, в беседах, которые продолжают

разговор, только что прерванный в аудитории), я сказал Мэтлоку, что судя по мемуарам, Горбачев по-прежнему занимает его воображение.

— Да, — кивнул он, — занимает. Конечно. Не так, как прежде, я думаю, все-таки меньше, но занимает. Горбачев — харизматическая личность. Я думаю, Ельцин тоже. Но они очень разные. Горбачев был первый, и это, конечно, навсегда войдет в историю. Можно сказать, уже вошло. Но далеко не все ясно. Нужны еще материалы, факты. Но дело не только в этом. Люди так устроены, что всегда склонны кого-то оправдать, обвинить или, по крайней мере, найти какое-то объяснение. Я пытаюсь понять. Многие пытаются понять. Я думаю, многое будет зависеть от того, как пойдут события дальше. Но чтобы предугадать, предвидеть, надо, насколько возможно, понять, что произошло раньше. Я имею в виду не только факты. Надо понять механизм фактов. Вот как раз в эти дни исполняется четыре года с того выступления Горбачева по телевидению, когда он объявил о ликвидации СССР. У меня, я писал об этом в своей книге, возник тогда вопрос: что же, собственно, ликвидировано: СССР, империя, которую знал мир, или зародыш чего-то нового? Я не могу сказать, что у меня есть готовый ответ сегодня. Я продолжаю искать ответ. И неизбежно, возвращаясь к тем дням, обращаюсь к фигуре Горбачева. Конечно, он был воспитанник партии, он был до мозга костей партаппаратчик. Но при этом он был русский человек. Многие его действия, поступки надо объяснять, я думаю, в более широком плане. Его решительность, как и его нерешительность, не стоят отдельно друг от друга, особняком. Они тесно связаны. Это не просто вопрос об интеллектуальном уровне политического деятеля, лидера. Это более общий вопрос о его человеческих качествах, которые формировались в условиях определенной культуры. Если мы лучше поймем тогдашние действия лидера, мы лучше поймем

культуру — политическую, социальную, нравственную, в которой создавалась культура политического лидера.

Только в самый начальный период преобразований Горбачев выступал как инициатор, как лидер, обращенный вперед лицом по ходу движения. Но уже в 1987 г., когда Джек Мэтлок занял посольское кресло в “Спасо-хаусе”, Горбачев, видимо, еще не вполне отдавая отчет самому себе, все более оказывался во власти сомнений. Сомнения эти все чаще, все отчетливее стали приобретать признаки смятения, которые, по воле обстоятельств, в тот период отмечены были хитросплетениями и каверзами внутривластных схваток с выигранным, как правило, результатом для первого функционера партии.

Нет сомнения, говорит Мэтлок, что в те дни ему еще верили. Но недоверие медленно, неотвратно подступало к нему с двух сторон. Со стороны тех, кто полагал, что он заходит слишком далеко, и одновременно со стороны тех, кто полагал, что он движется слишком медленно.

У первых исподволь формировалось представление о нем, как об отступнике. У вторых же, как о ретрограде, который сам уже не рад тому, что затеял, и готов идти на попятный.

Парадокс был в том, что на этом новом этапе он утрачивал качества лидера, поставленного обстоятельствами, самой историей, сохраняя признаки лидера номенклатурного.

* * *

Если бы приступая к программе перестройки, Горбачев четко определил для себя основные принципы затеянных им преобразований, он едва ли столкнулся бы с проблемой национальных суверенитетов. Нет сомнения, что в его сознании политические и экономические проблемы преобладали. Две трети века твердя о дружбе народов, о создании новой социальной общности, “советского народа”, лидеры партии и их сподвижники сами оказались во власти

магических формул. Национальные страсти, десятилетиями стесненные, выплеснулись в конце концов на поверхность с силой, которая не только потрясла основы СССР, но и сокрушила его.

Между тем, говорит Джек Мэтлок, в начальный период перестройки ситуация была иной. Пока еще пружина была под контролем, пока возможно было регулировать ее движение, следовало четко определить основы новых взаимоотношений между Москвой и союзными республиками. Что было сделано в 1991 г. под давлением обстоятельств, вынужденно, с признаками уже необратимой национальной лихорадки, будь оно сделано тремя годами раньше, наверняка привело бы к иному результату. Вопреки прогнозам и ожиданиям, и в самом СССР, и на Западе собственно политические и социальные проблемы не вызывали такого ожесточения, такой исступленной ярости, как национальные проблемы.

Сколь велико было заблуждение лидеров, едва ли показал кто-нибудь отчетливее, нежели сам Горбачев. После разрушительного землетрясения в Армении, Горбачев, прибывший в район бедствия, уверенно ожидал, что вот теперь-то перед лицом гибели и разрушений, учиненных стихией, карабахские страсти непременно утихнут.

В действительности же страсти не только не утихли, но напротив, казалось, в бедствии черпали новые силы, новый заряд.

Но и это, как ни странно, истолковано было как сугубо кавказский феномен, отмеченный крайностями, которые спокойствие веков свойственны были горцам.

Между тем волна противостояния приобретала уже видимые черты девятого вала, в каждой из республик со своими национальными приметами, но с общим для всех антимосковским импульсом. Москва, о которой прежде пели в песнях “от края и до края”, стала жупелом империализма.

Встретившись с Крючковым, когда тот был назначен главой КГБ, в ответ на вопрос его, в чем главная проблема Союза, Мэтлок сказал: “В движении национальных республик”.

Движение раскручивалось более трех лет. При этом не только ожесточались чувства, но кристаллизовался в сознании “меньших братьев” образ имперской Москвы, которая добром не откажется от своей роли.

В самой же России вызревал сложный запутанный комплекс национальной обиды великороссов, которые считали себя обобранными в пользу “меньших братьев”, не только неблагодарных, но одержимых злобой и мстительным чувством по отношению к своей благодетельнице.

Ничто не говорит о том, что комплекс национальной обиды захватывал и Горбачева. Напротив, он всячески стремился удержать в союзной орбите национальные республики, когда центробежные силы отчасти под влиянием прибалтов — но только отчасти! — становились доминирующим фактором.

Но хотя и далекий по своему душевному настрою от национал-патриотов и всех тех, кто вообще усматривал свалившиеся на страну беды в демократических новшествах, Горбачев стал определенно делать крен вправо. Крен весьма быстро приобретал признаки, поначалу, как казалось, дрейфа, а вскоре, это уже не вызывало сомнений, программно курса.

Совершенно очевидно, говорит Мэтлок, что Горбачев сознавал необходимость поддерживать новые отношения с Соединенными Штатами, отмеченные прекращением сорокалетней холодной войны. В этих новых отношениях он был тем более заинтересован, что личная его репутация в США была в это время весьма высока. К тому же президент Буш, сменивший в 1989 г. Рейгана, от первоначальной своей сдержанности весьма быстро перешел к изъявлению чувств, отмеченных искренней

и большой симпатией. Они стали друг для друга “Джорджем” и “Михаилом”.

При всем при этом в окружении Горбачева появлялось все больше людей, которые несколько не склонны были подвергать корректировке, а тем более пересмотру, прежние свои представления об Америке, о советско-американских отношениях. А если под влиянием обстоятельств и вносили поправки, то только в одном направлении: Соединенные Штаты, утверждали они, всегда считали своей целью развал Советского Союза, и ныне получили поддержку в этих своих целях внутри самого СССР.

Новый председатель КГБ Крючков вернулся к старому тезису о Вашингтоне как главном — главном и коварном — враге Москвы. Причем в его сознании Москва была столицей того Союза, который на Западе именовали то СССР, то, отказываясь от этого эвфемизма, по старинке именовали Россией.

В арсенале гебистов оставались отработанные советской идеологией и пропагандой клише: вокруг Советского Союза создаются и наращиваются атомные военные силы, американский капитал или его западные агенты, особенно в нынешних благоприятных для них условиях, норовят внедриться в экономику Союза; шпионы, в еще больших, нежели прежде, количествах засылаются в СССР.

Во время встречи, которая состоялась у него с председателем Крючковым в новой главной квартире КГБ неподалеку от Лубянки, рассказывает Мэтлок в своей книге, он без обиняков сказал хозяину, что все эти инсинуации ложны: США не наращивают своих военных сил, а напротив, сокращают; американский бизнес не только не внедряется в советскую экономику, но, напротив, всячески остерегается располагать там свои капиталы.

Что же касается шпионажа и того, что председатель Крючков квалифицировал как причастность к этому американских дипломатов, то, пишет Мэтлок, здесь он

решиительно отвел все доводы и ссылки хозяина Лубянки, который заметил, что дипломаты могут работать на ЦРУ, даже и не отдавая себе в этом отчета.

“Мы тоже, — сказал Крючков, — не обременяем своих послов познанием того, что может представляться им бременем. Я уверен, что точно так же поступает ЦРУ”.

Это была заявка на откровенность, доверительность в разговоре главного гебиста с главным американским дипломатом в Москве. Естественно, надо было отвечать в том же ключе. И посол Мэтлок ответил: “Господин председатель, я не знаю, какие процедуры приняты в вашей практике. Но я решиительно утверждаю, что осведомлен обо всех операциях правительства Соединенных Штатов в вашей стране. И ни одна из них не направлена на дестабилизацию Советского Союза”.

Как относился к таким суждениям и настроениям своих первых помощников и советников сам президент Горбачев?

В конце 1990 г. министр иностранных дел Эдуард Шеварднадзе, в те времена несомненный приверженец реформ, подал в отставку.

Горбачев говорил, что это было полной для него неожиданностью. Удар из-за угла. От давнего своего друга еще по ставропольским, по кавказским временам, он этого не ожидал.

В кругу, однако, самого Горбачева распространялась и другая версия: президент, продолжая свой крен вправо, готовил в угоду тем, кого недавно считал главными своими оппонентами, отставку ближайшего своего сподвижника, верного более, чем кто-либо иной, курсу на сближение и широкое практическое сотрудничество между Соединенными Штатами и Советским Союзом.

* * *

Дипломатические акции часто осуществляются на той трудно уловимой грани, где кончается собственно забота о своих интересах и начинается то, что может квалифицироваться как вмешательство в дела другой стороны.

Весной и летом 1991 г., говорит Джек Мэтлок, контакты были настолько интенсивны, что практически он каждый день встречался либо с самим Горбачевым, либо с его министрами, либо с главными его советниками. По телефону Буш и Горбачев разговаривали не реже одного раза в неделю, и хозяин Кремля, очень чувствительный ко всяким нюансам, в мае прямо задал вопрос американскому послу: “Видимо, вы думаете, корабль идет ко дну?”.

В этом вопросе советского президента заключен был сложный комплекс: и невозможность, вопреки договоренности, получить обещанный заем в полтора миллиарда долларов для закупки зерна; и отказ Вашингтона предоставить Москве компьютеры, которые обеспечили бы более эффективный контроль на атомных электростанциях; и неожиданное сообщение самого Мэтлока, что он собирается закончить свой посольский стаж в Советском Союзе. Последнее едва ли было самым важным в этом ряду, в который можно было включить еще полдюжины первостепенных проблем, настоятельно требовавших внимания. Но такова психология политического лидера: оказавшись за одним столом с послом дружественного государства, вдруг объявляющим, что в его ближайшей программе прощальный визит главе государства, последний прежде всего усматривает в этом неблагоприятный для себя знак.

* * *

Во время разговора в университетской аудитории, обращаясь к этому пассажиру в XIX главе его книги “Посмертное вскрытие империи”, я спросил Мэтлока: “Почему, собственно, вы спешили с возвращением в Штаты? Ваш предшественник, Артур Хартман, помнится, провел в Москве больше пяти лет. У вас были, как бы это сказать точнее, расхождения с президентом?”.

Мы стояли у окна. Профессор Мэтлок, глядя прямо перед собою, в обычной своей манере, спокойно, но с заметной паузой, сказал. “Буш просил меня, чтобы я посидел

еще в Москве. Но я считал, что пора возвращаться домой. Пора заняться и другими делами”.

* * *

В книге мемуаров, в главе XIX, большой фрагмент автор озаглавил в ключе сентиментального романа: “Джордж больше не любит меня!”. Слова эти произносит не автор, а один из его героев — президент Михаил Горбачев. И хотя на страницах этих речь идет о соглашении по сокращению обычных вооружений в Европе, о крутом несогласии между главой государства и его генеральным штабом, об очередной неудаче в давних попытках получить от американского Конгресса статус особого благоприятствования в торговле с Америкой для Советского Союза и о других проблемах того же ряда, возникает ощущение большой личной драмы. Драмы, чтобы не сказать трагедии, человека, не просто терявшего опору под ногами, но явственно ощущавшего, что опора эта ускользает и надобно любой ценой удержать ее.

Горбачев, безусловно, старался идти навстречу американским пожеланиям. В Москве не только в самых радикальных кругах говорили о прямом давлении Вашингтона. В некоторых случаях, пишет Мэтлок, речь по сути шла о чисто формальных моментах. К примеру, в Конгрессе статус особого благоприятствования в торговле давно увязывали с законом о беспрепятственном выезде из СССР. Но, замечает Мэтлок, такое право, хотя Верховный совет не оформил его соответствующим актом, фактически было предоставлено советским гражданам. Здесь была, однако, и другая сторона, а именно формальная: президент Горбачев в парламенте не смог обеспечить принятия решения, закреплявшего процедуру, уже ставшую практикой дня.

Референдум, который прошел в марте, в общем, мог толковаться как “да” горбачевской идее союза. Теперь, надо уточнить, это был уже не “Союз” с большой буквы. Теперь это был “союз” со строчной буквы, но с потенцией

прежних экономических связей, разрушение которых сказывалось на хозяйстве всех республик.

Надо, говорит Мэтлок, поставить точки над “i”: Запад не видел своей цели в том, чтобы развалить Советский Союз. Ни у Европы, ни у Америки такой цели не было. Сохранение стабильности в гигантском геофизическом регионе, охватывающем пол-Европы и огромную часть Азии, было в интересах мира, в интересах человечества. Конечно, при одном обязательном условии: на территории этого региона создается открытое общество с рыночной экономикой, без которой такое общество невозможно.

Понимал ли это Горбачев? Политик, тем более политический лидер, не может ставить вопрос умозрительно. Реальная жизнь требует практического ответа. При этом, говорит автор книги, неотвратимо заявляет себя важнейший фактор — фактор времени.

Президент Горбачев явно отставал. Отставание стало хроническим его состоянием. Дрейф его вправо в конце 1990 и в начале 1991 года повлек за собою не только потерю темпа, но поставил вопрос о месте его, Горбачева, в общем процессе.

Когда Борис Ельцин потребовал отставки президента СССР, у многих это вызвало неприятие и даже возмущение, поскольку само требование представлялось многим, даже и тем, кто потерял уже веру в Горбачева, бестактным. Но то, что казалось немислимым еще год, еще полгода назад, прозвучало если не вполне буднично, то, по крайней мере, в общем аккорде будней.

Крен влево, какой, хотя и не очень решительно, но вполне очевидно, стал делать Горбачев (который — в особенности после отставки Шеварднадзе — утрачивал в глазах Америки и Европы привычные черты “Горби”), возвращал ему знакомый облик.

Ельцин, поставивший Россию в общий ряд союзных республик, явно предполагал развал Союза. Политичес-

кие лидеры Запада, которые свыклись с Горбачевым как политическим партнером, привыкли к нему (это очень существенно для Запада) психологически и просто как к человеку, подтвердившему свою репутацию в многолетнем сотрудничестве, и поглядывали если не косо, то как-то искоса на Ельцина.

Несомненно, пишет Мэтлок, президент Ельцин в это время рассматривался уже не только как оппонент Горбачева, а как претендент на лидерство с законными полномочиями в Российской Федерации.

Как именно, на каких условиях может он выйти на первую роль в Союзе, этого в те дни сказать не мог никто. Но цель такая у него была, и Запад принимал это во внимание, но симпатии свои отдавал президенту Горбачеву. И судьбы страны, судьбы реформ связывал с ним.

К концу весны 1991 года Горбачев, пишет Мэтлок, несомненно, стал держаться более реалистического взгляда на ситуацию. Отвергнув экономический план академика Шаталина, президент Союза заявил на заседании кабинета министров, что расчет должен делаться на собственные силы. При нынешней экономике, заметил тогда Горбачев, даже сто миллиардов долларов не спасут положения. Надо, уверенно заключал он, менять структуру.

Но как менять? В этом был главный вопрос. И здесь, как прежде, Горбачев наткнулся на главное препятствие — препятствие, которое таилось в нем самом, в глубинах его души. Социализм, социалистические идеалы справедливости не были для него фразой. Он действительно верил, что можно найти формы, найти модель (прямее говоря, найти волшебное средство, панацею), которые претворят мечту в действительность. Мысль его в общем виде сводилась к тому, что, дескать, при социализме страна еще не жила, социализма никто не видел. То же, что было, представляло собой в теоретическом плане марксистское доктринерство, а в практическом — командно-распорядительную экономику с признаками казарменной системы.

Считал ли Запад на переломе весны-лета 1991 г., что Горбачев еще способен, еще в силах совладать с положением и справиться с задачами, которые действительность со свойственной ей неумолимостью ставила перед ним?

В конце мая, рассказывает Джек Мэтлок, госпожа Тэтчер, премьер-министр Великобритании, прибыла в Москву. Хотя они были знакомы, приглашение встретиться в английском посольстве показалось Мэтлоку несколько неожиданным. Встреча была назначена на 10 часов вечера, после возвращения госпожи Тэтчер с дачи президента, где у нее был обед с четой Горбачевых.

Из окна посольства открывался прекрасный вид на кремлевскую стену и окрестные здания, все ярко освещенные. Держа в руке бокал — послеобеденный ритуал — госпожа Тэтчер приступила без предисловий к главному: “Пожалуйста, передайте моему другу Джорджу. Мы обязаны помочь Михаилу. Конечно, вы, американцы, не должны и не можете сделать этого сами. Но Джордж (само собой понятно, речь шла о президенте Соединенных Штатов Буше), в этих усилиях должен будет взять на себя руководство, как это было в деле с Кувейтом”.

Произнеся эти слова, леди Тэтчер задумалась и после паузы решительно продолжала: “Нынче, когда Горбачев помог покончить с холодной войной и взял курс на подлинные реформы, история не простит нас, если мы окажемся не в состоянии по-настоящему поддержать его”.

По словам премьера, Горбачев во время разговора, который был у них на президентской даче, убедил ее, что готов восстановить право на частную собственность, хотя на его взгляд сейчас не самое подходящее время, чтобы делать об этом публичные заявления.

Госпожа Тэтчер также сказала в тот вечер, что по впечатлению, какое у нее сложилось, политическое положение Горбачева отчаянное, и надо пригласить его на встречу большой семерки в Лондоне. Причем необходимо исходить

из того, что из Лондона, с этой встречи, он не может вернуться в Москву с пустыми руками.

Она чувствует, добавила леди Тэтчер, что дело это очень непростое и Соединенным Штатам следовало бы оказать на друзей давление с тем, чтобы они, как сказала она, “исполнили свой долг”.

Относительно Германии она сообщила, что обещана существенная помощь, но немцы должны сделать для Горбачева больше, потому что, в конце концов, это их плата за восстановление единой Германии.

Что касается японцев с их претензиями на острова, которые были отняты у них после Второй мировой войны, то надо поощрить их к большей сдержанности по части территориальных притязаний в ожидании более благоприятных времен, когда положение Советского Союза будет стабилизировано. В противном случае, если бы Горбачев и пошел им навстречу, это неизбежно привело бы его к краху. Нет, добавила Тэтчер, это риск, которого не могут позволить себе ни они, ни мы.

Посол Мэтлок уверил госпожу Тэтчер, что передаст ее пожелания президенту Бушу. И добавил, что сам вполне разделяет ее взгляд относительно реформ в Советском Союзе. И президент Буш, насколько он знает, исполнен желания и решимости сделать в этом отношении все, что в его силах.

Во всей этой проблеме, заметил посол Мэтлок, есть досадный момент, а именно: Горбачев еще не избрал политическую линию, которая сделала бы оправданной и эффективной помощь со стороны Запада. Бюджетный дефицит в Союзе по-прежнему остается вне контроля, структуры социальной помощи остаются, в основном, в сфере функций государственных заводов и фабрик, частные предприятия не находятся под действенной защитой закона, львиная доля экономики сохраняется как гигантская сфера государственных монополий. И, наконец, не принята,

точнее, даже и не намечена стратегия по созданию институтов, без которых невозможна рыночная экономика.

В этих условиях, резюмировал свои соображения американский посол, вкладывать деньги в страну нецелесообразно: это не только не привело бы к добру, но, напротив, причинило бы Советскому Союзу несомненный ущерб.

“Ах, — воскликнула госпожа Тэтчер, пристально глядя на собеседника, — вы рассуждаете, как дипломат! Это не что иное, как поиски благовидного предлога, чтобы ничего не делать. Почему вы не можете мыслить, как государственный муж? Мы должны помочь этому процессу, который в наших общих интересах, в интересах каждого”.

Заметно взвинченная, госпожа Тэтчер, рассказывает Джек Мэтлок, взяла себя в руки, несколько понизила тон и заметила, что Горбачев абсолютно прав, когда говорит, что та же энергия, которая понадобилась президенту Бушу, чтобы защитить Кувейт, нужна была бы и в деле помощи Советскому Союзу в процессе его перехода на новые рельсы.

“Да, — закончила она свою апологию, — только Америка способна возглавить это дело. И я уверена, мои слова будут переданы моему другу Джорджу”.

Воротясь в “Спасо-хаус”, вспоминает Мэтлок, он немедленно телеграфировал президенту Бушу о разговоре, который был у него с госпожой Тэтчер в британском посольстве.

В своем дневнике в тот же вечер он сделал запись: “Я думаю, госпожа Тэтчер права. Конечно, можно найти много всякого рода извинений, чтобы оправдать бездействие, но нет ни малейшего сомнения, что дальнейшая эволюция Советского Союза в направлении открытости и демократии в жизненных интересах Запада. Наши лидеры просто показали бы, что лишены мудрости или смелости (или и того, и другого), если бы оказались неспособными ответить на вызов момента. Помощь,

конечно, должна быть осмысленной и соответствующей, привязанной к определенным проектам и акциям. Но мы должны выработать очень серьезную программу помощи и поддержать реформы”.

Несомненно, повторяет Мэтлок, именно в этом плане надо было действовать. И дело было здесь не только в западных деньгах. Надо было создавать новую международную атмосферу, в которой нашлось бы соответствующее место Советскому Союзу.

Но, признает автор, сам он, увы, не был преисполнен оптимизма. Хотя президент Буш относился к Горбачеву с симпатиями, личными и политическими, и готов был оказать ему поддержку, помощь, задачу надо было ставить более широко. Надо было создать международные структуры, которые бы дали возможность включить Советский Союз в мировую экономику как деятельного, конструктивного партнера. Но президент Буш не хотел, или не мог стать во главе столь масштабного дела. И предпочел реагировать на каждое действие Горбачева так, как будто речь шла не о стратегическом выборе, а об отдельных тактических операциях. В мае и июне 1991 г. Мэтлок ожидал от американского правительства решительных и продуманных действий, которые могли бы существенно поддержать Горбачева в осуществлении намеченного им курса.

* * *

Всякому политику очень непросто держаться нравственных принципов, но дипломату вдвойне трудно, ибо за долго до великих мастеров интриги и хитрости — Талейрана и Меттерниха, среди качеств, которыми должен обладать посол, более всего ценилась хитрость. В хитрости же усматривали не только способность утаивать подлинные свои мысли и планы, но и умение обвести другую сторону. Проще говоря, оставить в дураках.

Если не считать начальных страниц книги, Джек Мэтлок в своих мемуарах нигде прямо не говорит об этических

началах дипломатии в современной обстановке. Но все эпизоды и сцены, написанные рукой талантливого литератора, пронизаны, как рентгеном, этическими лучами. Даже в тех случаях, когда Мэтлок-дипломат всячески стремится уйти от этической, и в особенности отрицательной, оценки, фигуры, расставленные им, речи, воспроизведенные им, неизменно вызывают отклик в душе читателя. Отклик именно нравственный, то есть с одобрением или осуждением, с симпатией или, напротив, прямой неприязнью к политическим лидерам, от поступков которых во многом зависит состояние общечеловеческих дел.

Дела, которые обзревает автор книги, весьма определенно очерчены в пространстве и времени. Главные географические границы — геополитическое пространство Советского Союза, по сегодняшней терминологии “бывшего Советского Союза”. Время — вторая половина минувшего десятилетия и начало нынешнего.

Посол Вашингтона в Москве, Мэтлок вполне отдавал себе отчет, что сколь ни важны все мировые столицы, ответственность за судьбы мира в первую очередь за этими двумя — Москвой и Вашингтоном. Отношения между ними не могут строиться на зыбких основах, которые предполагала вековая мудрость дипломатии и ее опыт, исполненный ловких уверток, чтобы не сказать коварства.

Между Вашингтоном и Москвой должны быть установлены отношения подлинного доброжелательства и партнерства. Это, естественно, не исключало ни противоречий, ни даже, в иных вопросах, противостояния. Но всегда в любом случае преобладать должно было искреннее желание найти взаимоприемлемое решение, компромисс, готовность пойти на разумную уступку и одной, и другой стороны.

В Москве, поначалу вполголоса, а затем и во весь голос оппоненты Горбачева справа стали упрекать его в непомерных уступках Западу. Со временем прямо уже говори-

ли не об уступках, а о сговоре, с каким Горбачев вошел с Западом.

Нет, решительно утверждает автор “Посмертного вскрытия империи”, никакого сговора не было и быть не могло. Запад такого сговора не предлагал, хотя бы потому, что вполне была очевидна его иллюзорность: надобно помнить, подчеркивает Мэтлок, что СССР был великой ядерной державой и по внутреннему своему велению начал грандиозную перестройку, действительных масштабов которой не представляли себе ни в самой Москве, ни в Вашингтоне, Лондоне, Токио, Бонне.

Семидесятилетний эксперимент, поставленный в России, провалился. Перестройка была, безусловно, новым экспериментом. Но, отвлекаясь от ее сути, прежде всего следует отметить ее великую особенность: преобразования предприняты были не в условиях войны, не вследствие понесенного поражения, а, повторяет автор, по внутреннему велению.

В двадцать второй главе “Смертельный удар” мемуарист прямо ставит вопрос о нравственной стороне декабря 1991 г. Это, пожалуй, единственное место в книге, где историография явно уступает место историософии и этике истории.

Портретные штрихи, которыми отмечены его герои, в частности, Горбачев, лидеры России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Ельцин и Назарбаев, по-прежнему сохраняющие свои роли, Кравчук и Шушкевич, отодвинутые с авансцены, представляют живые фигуры.

Тщеславие и амбиции Горбачева не оставались тайной для Джека Мэтлока. Но при этом, замечает мемуарист, можно с уверенностью утверждать, что сугубо личные мотивы, в особенности негативные, у Горбачева сказывались с меньшей силой, чем у иных его партнеров. Трудно указать примеры мстительности по отношению к соперникам, которых в минуты неудачи последних он подвергал бы

унижениям, руководствуясь исключительно желанием взять реванш. Между тем сам он, начиная с двадцатых чисел августа 1991 г., после Форосского пленения, оказался в положении, терновым венцом которого стало 25 декабря — его публичное по телевидению самоотрешение от президентства.

В этот драматический промежуток времени с августа по декабрь 1991 г. президент Союза, говорит Мэтлок, вел отчаянную борьбу за сохранение того максимального единства, которое исключало прежнюю доминантную роль Москвы, но было в общих интересах. Конечно, нельзя рассматривать все в плане злонамеренности, которая, будто бы внезапно, проявилась у большинства лидеров национальных республик. Суверенитет был не только вождельной мечтой республик; он был, несомненно, их законным правом. Но проект нового союзного договора, статьи ново-огаревского соглашения предоставляли республикам права, какие исключали прежние претензии Москвы на верховенство.

Августовский путч нанес горбачевским планам и усилиям сильнейший удар. Но не смертельный. Оправившись от форосского шока, Горбачев нашел в себе силы вновь взяться за прерванное в последней декаде августа дело.

И тут, говорит Мэтлок, надо обратиться к линии, какую избрал в этот период Запад, в частности, президент и Госдепартамент Соединенных Штатов.

Как ни парадоксально, в роковые дни августа обнаружилась в Соединенных Штатах странная неосведомленность. В те часы, когда путчисты доживали последние свои шаги на свободе, газета “Нью-Йорк Таймс” писала, что КГБ и военная хунта в Москве укрепляют свои позиции. Президент Буш выступил поначалу с заявлением (напомню, Джек Мэтлок за несколько дней до этого закончил свой посольский срок в Москве), которое звучало, и не только в ушах гекачепистов и их единомышленников, весьма двусмысленно.

В следующем заявлении эта двусмысленность была снята, путч осужден и гекачеписты квалифицированы заговорщиками. Тем не менее, поддержка, в которой нуждался президент Горбачев, — решительное в его пользу заявление, с четкими строгими акцентами, — не была ему оказана.

Отметив роль, вполне заслуженно, какую сыграл в три дня августа президент России Ельцин, Вашингтон, по формальным признакам, продолжал считать центральной фигурой президента Союза Горбачева. Однако госсекретарь Джеймс Бейкер почти тут же совершил свой знаменитый вояж в столицы республик, еще не вышедших из Союза, но уже провозгласивших свою независимость.

За неделю до путча посол Мэтлок с женой Ребеккой Мэтлок отбыли из Москвы.

Контакты с Россией, однако, не прекратились. То с официальными поручениями, то в частном порядке Джек Мэтлок продолжал наезжать в Москву, в другие столицы и города. Отчет о драматических событиях между августом и декабром 1991 г. — органическое продолжение его рассказа о тех днях, когда он выполнял в Москве обязанности посла.

Четвертого сентября Ельцин объявил, что верит нынче в Михаила Сергеевича даже больше, чем три недели назад, до путча.

Горбачев сдавал одну позицию за другой: функции, которые по ново-огаревскому соглашению передавались республикам, превращали Москву не в центр, где бы главы всех республик решали свои проблемы, а в некое местоблюстительство, не имеющее практического смысла.

В самой России, говорит Мэтлок, сподвижники Ельцина — “младотурки”, как нарекли их за радикализм, звали к ликвидации того, что было Союзом или наследием его. Сам президент Борис Николаевич, однако, держал роль твердо. 6 ноября, в памятный для него день, когда четыре года назад подвергли его изгнанию из Политбюро,

он запретил компартию. За два дня до этого он заявил, что Россия не намерена создавать свою армию, независимо от того, что предпримут в этом направлении другие республики.

В том ноябре, 14 дня, Борис Николаевич со свойственной ему прямоотой произнес: он не знает, сколько государств присоединятся к новому союзу, но он твердо убежден, что будет союз.

На 25 ноября назначена была торжественная церемония подписания ново-огаревского соглашения. Приглашены были журналисты, телевидение. Горбачев открыл совещание. Первому предоставлено было слово президенту России Ельцину. И он, президент Российской Федерации, первый заявил, что не может подписать этого документа, поскольку в консультациях со своим Верховным советом выяснил, что парламент России не ратифицирует документа в теперешнем его виде.

Вслед за Ельциным поднялся белорус Шушкевич, затем узбек Каримов. Ельцин добавил, что хотя Украина не участвует в сегодняшнем совещании, но до выборов президента на Украине вообще неудобно, прямо говоря, принимать такого рода решения.

Деловое обсуждение превратилось в перепалку. Горбачев, то ли потеряв контроль над собой, то ли напротив, рассчитывая на максимальный эффект, воскликнул в сердцах: “Задыхаемся в дерьме!”.

Ельцин, Кравчук и Шушкевич были законными главами своих государств. Но, замечает Мэтлок, вся встреча в Белоруссии была окутана тайной, включая даже и место встречи.

“Абстрагируясь от того, насколько законным было решение о роспуске СССР, — пишет Мэтлок, — можно сказать, что вряд ли будет когда-нибудь достигнуто согласие по поводу приемлемости тех методов, которые были использованы Ельциным, Кравчуком, Шушкевичем и лидерами других республик. Странники концепции содружества

обращают, однако, внимание на фактические реалии, которые не оставляли республиканским лидерам возможности поступить иначе".

* * *

Нет сомнения, что литературные увлечения студенческих лет не были случайностью в интеллектуальной биографии Джека Мэтлока. Посвятив свою жизнь дипломатии, он оставался в душе литератором, который ждал своего момента, своего звездного часа.

Мемуары "Посмертное вскрытие империи" десятки страниц напролет, целыми главами читаются, как захватывающий детективный роман. С тем, однако, очевидным преимуществом, которое имеют сочинения документального жанра.

Легкость и ясность изложения, признанные в равной мере профессорами истории, политологами и газетными рецензентами, являются свидетельствами не только литературного таланта автора, но и строгой нравственной его позиции. Независимо от того, поставил ли он перед собой задачу сказать всю правду, всю правду до конца о событиях, непосредственным участником которых он был, многие страницы, посвященные его современникам и коллегам, наверняка перелиставшим эти страницы, изумляют своей нелицеприятностью и недвусмысленностью оценок.

Профессиональный дипломат, ныне профессор университета, Джек Мэтлок не принадлежит к числу тех, кто не судит в ожидании того, что и он не будет судим.

Автор не поддается соблазну приукрасить тех, кто милы его сердцу, и понести тех, кто не вызвал его симпатий.

В российской мемуарной литературе особым и заметным, выдающимся памятником остаются "Воспоминания" графа Витте, крупнейшего государственного деятеля и дипломата. Нет сомнения, что эти "Воспоминания" могут служить эталоном прямоты и откровенности в мировой мемуаристике. Но, отдавая должное графу Сергею Юлье-

вичу, читатель не забывает, что мемуары предназначались не для прижизненной, а для посмертной публикации.

Слов нет, они оставались при этом нравственным подвигом, ибо из всех трудных занятий, какие достаются на долю человека, которому есть, что рассказать, наитруднейшим является говорить правду.

Автору "Посмертного вскрытия империи" также досталось наитруднейшее это занятие — говорить правду, но не в посмертной публикации, а в прижизненном издании. Читая английский текст, русскоязычный читатель, естественно, расставляет свои акценты. И в тех случаях, когда английское слово folly может быть передано по-русски как "безрассудство" и как "глупость", память прежде всего подставляет последнее — "глупость". Поскольку суждение это приходится на пассажи, где речь идет о бывшем президенте Соединенных Штатов Джордже Буше и его государственном секретаре Джеймсе Бейкере (далее об этом будет подробный разговор), то, по вполне понятному интересу, читатель возвращается к поучительным картинам и эпизодам, чтобы глубже вникнуть в механизм поведения, в психологию тех, кто приготавливает в наши дни блюда на мировой политической кухне.

Русское понятие "бывалый человек" не принято прилагать к государственным деятелям, к дипломатам. Но дипломат по профессии Джек Мэтлок, прошедший годы не только бок о бок со своим президентом, но и нареченный "товарищем послом" в Кремле, наиболее полно определяется этим понятием "бывалый человек". Исколесив Россию, он за одиннадцать лет узнал ее лучше, нежели кто-либо иной из дипломатического корпуса в Москве. И досада (он не скрывает этого), которую приходилось ему порою испытывать, когда перевирались его слова, а действия истолковывались превратно, вполне понятна читателю и, более того, нередко разделяется им.

Читатель, хотя и в воображении, становится соучаст-

ником действия, и события, отчасти, может быть, даже известные, озаряются как бы новым светом и проходят перед глазами, словно увиденные впервые.

В печати в свое время было много разговоров о подготовке антигорбачевского заговора в июне 1991 г. Американский посол в Москве Джек Мэтлок, по стечению обстоятельств и по роли, которую хозяин “Спасо-хауса” принял на себя, оказался одним из главных действующих лиц в событиях тех дней.

Гавриил Попов, тогдашний мэр столицы, в числе других приглашен был на ленч к американскому послу. Прием был назначен на час дня, но утром из канцелярии мэра внезапно передали в посольство сообщение, что он не может прибыть, и предлагали договориться о встрече в другое время. Сообщение, однако, было сформулировано так, что посол Мэтлок тут же отправил свой ответ в мэрию и просил профессора Попова прибыть в посольство столь быстро, сколь это будет возможно.

К полудню мэр столицы уже был в гостях у посла, и оба уединились для разговора. Хотя и оставшись с глазу на глаз с хозяином “Спасо-хауса”, мэр Попов, хорошо знающий политические нравы своего отечества, особенно его тайной полиции, взял клочок бумаги и начертал на нем известие, которое привез вашингтонскому представителю в Москве.

Конечно, при других обстоятельствах такая акция могла бы быть истолкована как угодно — мэр столицы входит не то, чтобы в сговор, но в суперконфиденциальные разговоры с иноземным послом! — однако на Москве тех дней взгляды сильно переменились, и что раньше толковалось как отступничество от отечества, теперь толковалось как радение за него и заступничество.

Несомненно, так именно понимал свою миссию мэр Попов, так понимал его миссию и посол Мэтлок. Словом, это был полный альянс, какой редко случается между высо-

кими представителями двух держав, еще недавно ратовавших в сорокалетней холодной войне.

Что же начертал на клочке бумаги, который тут же передал своему собеседнику-американцу, московский мэр? В книге мемуаров текст этот набран так:

“ОРГАНИЗОВАН ЗАГОВОР, ЧТОБЫ УСТРАНИТЬ ГОРБАЧЕВА. НАДО ДАТЬ ЗНАТЬ БОРИСУ НИКОЛАЕВИЧУ”.

Напомним, Борис Николаевич Ельцин, несколько дней назад, 12 июня, избранный президентом Российской Федерации, отправился в первый свой официальный вояж на ролях главы России в Вашингтон. Здесь предстояли ему государственные встречи, в их числе и с президентом Соединенных Штатов.

Возникал естественный вопрос, возник он, естественно и у посла Мэтлока, а дали ли знать самому президенту Горбачеву о заговоре, какой подготовили против него? Оказалось, нет, не дали, а решили действовать вот таким окольным путем: сначала дать знать за океан, в Вашингтон, где через несколько часов ожидалась встреча президента США с президентом России, а уж оттуда, из Вашингтона, дать знать об этом подготовленном против него заговоре президенту Михаилу Горбачеву.

Как именно должно это быть осуществлено технически, поначалу было не вполне ясно. Об известии, полученном от Гаврилы Попова, посол Мэтлок дал знать только троим: президенту Бушу, его советнику по безопасности Бренту Скаукрофту и госсекретарю Бейкеру, который находился в этот момент в Берлине.

Вскоре в посольстве раздался звонок. По телефону (телефон этот был особо секретный) заместитель государственного секретаря Роберт Киммит сообщил, что президент передаст новость Борису Ельцину, но при этом

глава Белого дома распорядился, чтобы Мэтлок отправился к Горбачеву и сам проинформировал его о заговоре. Посол ответил, что он согласен, но просил при этом ни в коем случае не вспоминать в Вашингтоне имени источника, то есть мэра Попова, и имен тех людей, которые, по сообщению последнего, причастны к затее: премьер-министра Павлова, председателя КГБ Крючкова, министра обороны Язова, председателя Верховного совета Лукьянова. Имена эти, сообщает в своих мемуарах Мэтлок, также начертаны были на клочке бумаги Поповым, но, едва посол успел пробежать запись, мэр тут же отобрал у него листок, изорвал его на глазах у хозяина в клочки и сунул их в свой карман.

Тут необходимо пояснить, что передавая сообщение, от которого не осталось никаких письменных следов, в Вашингтон, посол Мэтлок уведомил свое правительство, что никакими другими данными из независимых источников о заговоре Крючкова с сотоварищи не располагает.

И вот, рассказывает посол Мэтлок, начались некие странности, которые трудно объяснить, руководствуясь здравым смыслом.

Забегая несколько вперед, заметим, что по убеждению автора мемуаров, сговор между высшими членами горбачевского кабинета министров в июне действительно был. Свидетельством этому, если не прямым, то по крайней мере, косвенным, могло быть вызывающее выступление в Верховном совете премьера Павлова, который требовал для себя такого расширения полномочий, какое поставило бы его в один ряд с президентом. Поддержали премьера некоторые из министров.

Но в доводе этом есть только один изъян: выступление Павлова было публичным, в парламенте страны, и лишено было по этой причине важнейшей приметы сговора или заговора — секретности. Но, с другой стороны, это могло быть и своего рода пробой сил.

Тем не менее, до randevу с мэром Поповым посол Мэтлок не информировал свое правительство о заговоре, притом уже организованном, против президента Горбачева, хотя слухи о возможности заговора ходили по Москве уже не первый месяц. Не только слухи, но и прямые предупреждения о возможности такого оборота событий, если демократия не сплотит свои силы.

Сообщение мэра Москвы, одного из первых лиц в тогдашней России, было сигналом “SOS”, адресованным из Москвы в Вашингтон.

Автор мемуаров говорит, что требовалась исключительная осмотрительность и осторожность в этой критической ситуации, тем более, что первым сигналом выступал здесь мэр Москвы. Верно, что он обращался к президенту Ельцину, находившемуся с визитом в Вашингтоне, но в действительности использовал при этом все каналы американские, естественно ведущие в Белый дом и Госдепартамент.

Понятно, что в подобных обстоятельствах неразумно было предавать огласке, пусть даже ограниченной, имя мэра Москвы, который избрал своим конфидентом посла иностранной державы. В действительности, однако, все сложилось по-другому.

Мэтлок позвонил в канцелярию Горбачева с просьбой о безотлагательной встрече. Ответ получен был без промедления: “Приходите”. Теперь, рассказывает мемуарист, он по-настоящему понял всю сложность своей задачи. В самом деле, как было ему, послу державы, которая незадолго до этого в СССР числилась во врагах номер один, сообщить главе государства, что против него организован заговор с участием в качестве главных заводил премьер-министра, шефа безопасности, министра обороны и спикера парламента? Не могло ли это быть истолковано как вмешательство в дела страны, где он был аккредитован, как попытка посеять рознь и подозрения в верхних эшелонах власти, в ближайшем окружении главы государства?

Разве не естественно было бы, если бы сам Горбачев разобрался во всем этом, тем более после вызывающего выступления премьера в парламенте Союза?

Твердо и вместе с тем без избыточного нажима, без драматических или сентиментальных нот живописует Мэтлок свою встречу в этот вечер с Горбачевым.

Как обычно, президент приветствовал “товарища посла”, которого возвел в ранг члена “единой команды”, чьей главной заботой были гармонические отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Более того, заметил Горбачев, “товарищ посол” стал влиятельным членом “нашего общества” и строгим поборником не только в едином деле общего взаимопонимания, но и в проведении реформ внутри Советского Союза. Учитывая все это, как может он, “товарищ посол”, решиться на то, чтобы по-кинуть Москву, когда он, Горбачев, так нуждается в поддержке обеих стран (его собственной и Соединенных Штатов), чтобы удержаться в колее предпринятых им преобразований?

Это был момент, вспоминает Мэтлок, острого, тяжелого чувства неловкости, которое охватило его при этом потоке дружеских изъявлений и прямых комплиментов, исходивших от президента.

В этот июльский вечер (близился к концу день летнего солнцестояния) у Горбачева было мягкое, благодушное настроение. Ничто не говорило о том, что он ждет неприятных известий. Между тем, именно с этой целью — сообщить чрезвычайную новость — пришел в Кремль американский посол Мэтлок.

Все в этом кабинете — длинный стол, огромные окна, было знакомо послу. И вот предстояло ему свести на нет мирную обстановку прелестного московского вечера начальной поры лета и поставить президента СССР в известность о подготовленном против него заговоре.

“Господин президент, — сказал посол Мэтлок, — прези-

дент Буш просил меня передать вам, что мы получили сведения, весьма, на наш взгляд, тревожные, хотя мы не можем надлежащим образом их подтвердить. Они имеют основания более серьезные, нежели просто слухи, но менее достоверные, нежели проверенная информация. По этим сведениям, намечена попытка устранить вас, случиться это может в любой момент, даже на этой неделе”.

Горбачев покачал головой, усмехнулся, и тут же сделался серьезным: “передайте президенту Бушу, что я тронут. У меня было чувство, что мы партнеры, и теперь он подтвердил это. Он сделал именно то, что должен сделать друг. Но передайте ему, пусть не беспокоится. Я все держу крепко в руках”.

Затем он добавил, что в общем все наладится, хотя слухи всякие идут. Даже с Ельциным намечается сотрудничество. Посол ответил, что сообщение о крепнувшем сотрудничестве между Горбачевым и Ельциным весьма обнадеживает.

“Завтра, — сказал Горбачев, — завтра вы кое-что увидите”.

В самом деле, на следующий день, выступая в Верховном совете в связи с акцией премьера Павлова, Горбачев получил поддержку большинства парламентариев.

Между тем, рассказывает Мэтлок, сообщение Гаврилы Попова оставалось в фокусе внимания и президента Буша, и госсекретаря Бейкера, у каждого на свой лад, со своими практическими акцентами.

В Берлине, встретившись с министром иностранных дел Бессмертных, Бейкер просил передать его новость Горбачеву. Это могло быть следствием только полного незнания советских реалий: как будто у министра иностранных дел СССР могли быть особые линии связи, не контролируемые КГБ! Несомненно, это было верхом глупости. Но у министра Бессмертных, добавляет мемуарист, хватило благоразумия не обращаться к каналам технической связи, которые, естественно, все прослушивались.

Впрочем, продолжает свой рассказ Мэтлок, если действия госсекретаря Бейкера были необдуманны, то разговор президента Буша с Горбачевым по телефону был образцом прямой беспечности. Уверяя Горбачева, что Ельцин за время своего пребывания в Вашингтоне не проявил нелояльности по отношению к президенту СССР, Буш уведомил его, что информация о заговоре исходит от Попова. И это при том, что разговор президентов наверняка прослушивался людьми Крючкова. Трудно было поверить, восклицает Мэтлок, что бывший глава Центрального разведывательного управления, который неизменно гордился своим профессионализмом и делал выговор за всякую утечку информации, даже незначительной, мог допустить такую неосторожность, такую беспечность!

А что Горбачев, как сам Горбачев действовал в этой обстановке, которая была несомненным предвестником августа девяносто первого?

Завороженный собственными планами и ожиданиями, Горбачев в оставшиеся до рокового путча недели жил и действовал, говорит Мэтлок, как сомнамбула, у которого свои мерки, не согласующиеся с измерениями в реальном предметном мире.

40 ЛЕТ ВЕНГЕРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Тибор Мераи

ТРИНАДЦАТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ ПОТЯСЛИ КРЕМЛЬ

(Отрывки из одноименной книги *)

В мае 1956 года в Национальной академии музыки состоялась премьера оратории друга и сподвижника Бела Бартока, крупнейшего венгерского композитора Золтана Кода на слова поэмы XVII века. Автор этой поэмы, выдающийся полководец и писатель Миклош, сражался против немцев на западе и против турок на востоке и юге. Исполнение сопровождалось возгласами: "Руки прочь от Венгрии!" Аудитория была возбуждена, многие плакали. После финального аккорда зрители встали и стоя аплодировали находившемуся в зале старому композитору. С ним рядом сидел Имре Надь. Нескончаемая овация относилась к ним обоим, ибо оба они стремились к одному и тому же — к освобождению Венгрии.

Примерно тогда же вернулся из Москвы после своей выставки скульптор Зигмунд Штробл Кишфалуди, который пользовался расположением партийной верхушки. Там он сделал бюст председателя Президиума Верховного Совета СССР маршала Ворошилова. Оба они были любители выпить. Однажды, за совместной выпивкой, Ворошилов разоткровенничался:

"Ракоши — большой мерзавец, Гере — ничтожество, а о других и говорить не стоит. В вашем партийном руководстве есть только один честный человек — Имре Надь"...

К началу июня 1956 года этому честному человеку исполнилось 60 лет.

* Tibor Meray, *Thirteen Days that Shook the Kremlin*, Praeger, N.Y., 1959.